



НИКОЛАЙ НИКИТИН





НИКОЛАЙ НИКИТИН

И З Б Р А Н Н Ы Е
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ

1

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское
отделение
Ленинград
1968



Дорогому Кемерову, поздравляю,
здорово, снаружи группе Родинки.

Не падают о наст.

Спасибо за вен.

Крепко надеялся и благословил

Пр-д.

Леха

16 | 81-68^a

из неопубликованного и забытого

ДВА ЭТЮДА



Николай НИКИТИН

8 августа Николаю Николаевичу Никитину — одному из знатчтелей советской литературы — исполнилось бы 75 лет. Но писатель не дожил до этой даты — вот уже семь лет, как его нет среди нас.

Мне выпало счастье знать Николая Николаевича много лет, работать с ним «по соседству» в редакционных коллегиях двух журналов: военного «Ленинграда» и «Звезды пятидесятых годов». Это, полагаю, дает мне право вспоминать не только о Никитине-писателе, но и о Никитине-человеке.

Николай Николаевич начал свой писательский путь в блестящей плеяде художников слова — вместе с Н. Тихоновым, К. Фединым, Вс. Ивановым, М. Зощенко, М. Слонимским, В. Кавериным... Как и многие его сверстники, он пришел в литературу из огня гражданской войны.

«Нам все дала революция... Нас воспитала Советская власть» — эти слова я не раз слышал от Никитина. В этих словах была святая правда. И Никитин всю жизнь старался не оставаться в долгу перед революцией и Советской властью.

НА ПРИЕМЕ

Машина шла не спеша. Надо было впитать в себя жизнь города, надо запомнить каждую мелочь... Магазины, трамваи, улицы, газетчики, липы на бульварах, цвет автобуса, покосившаяся вывеска, новый дом — все привлекало его внимание. Часто он останавливал машину и подымался на строительные леса, чтобы побеседовать с десятниками и рабочими.

Летний сад казался окутанным зеленым туманом. На невском фарватере грелись серые подводные лодки.

Каждый раз, подъезжая к Смольному, Киров чувствовал его как ветерана, как человека, как свидетеля. Окна смотрели на него, как глаза истории. Это здание, протянувшее крылья над площадью, парило, точно орел. Здесь он встретился с Лениным.

В приемной около секретаря томился Иванушкин. Он приехал в Смольный прямо с вокзала.

Полчаса тому назад он лично дозвонился к Мирончуку и условился с ним о встрече. Север, Хибины — это было мечтой Кирова. Это дело он лелеял, как мать лелеет любимого ребенка. Иванушкин, один из партийных руководителей Хибин, должен был рассказать Кирову, чем живут и чем дышат Хибины. Кирову не терпелось видеть его, и он вызвал Иванушкина прямо с вокзала.

Киров быстро прошел мимо секретаря. Увидев Иванушкина, он очень обрадовался и сразу потянул его в кабинет.

— Ну, молодой геолог, пойдем! Я тоже, брат, на старости лет занялся... Никогда не попадаешь

После академика явились директора.

Кабинет сразу наполнился шумом, приветствиями. Директора входили гурьбой, Киров смеялся.

— Наконец-то я вижу у себя сразу всех ленинградских гигантов. Боюсь, выдергут ли вас мой стулья...

С каждым из этих людей у него были особые отношения, но внешне он был почти одинаков со всеми. Он превосходно знал биографию каждого, их достоинства, их недостатки. На людях он не позволял себе делать никаких, даже мелких различий в своем внимании к кому-нибудь из них. Знание человека оставлялось им про себя, в запас. Учитывая человеческую натуру, ее свойства, характер, темперамент, имея полное представление о каждом из этих людей, он создавал из них выполнителей великого плана.

Человек многообразен, это очень тонкий и сложный инструмент. Если понять его до конца, он может стать совершенным. Кирову удавалось это.

На ленинградских заводах Кирова считали своим человеком. Он приезжал в любое время — и днем, и ночью, — входил в цеха, останавливал рабочих и непременно вступал в разговор.

Часто ему говорили:

— Сергей Миронович, зачем вы беспоконитесь?.. Мы бы приехали в Смольный...

— Нет уж, извините... — шутил он. — Я ученый... Я верю только собственным глазам. Да и то не всег-

— Нет... Исключили...

Из-за стены был слышен звонкий кировский голос. Кто-то раскрыл дверь, и в приемную донесся шум отдвигаемых стульев. Директора выходили парами и в одиночку. Киров провожал их, рассказывая им о чем-то на ходу, они смеялись.

Человек бросился к Кирову, отталкивая от него народ.

— Сергей Миронович, помните, вы мне вчера сказали: «Заходи...»

Киров остановился, веселые морщинки быстро побежали по всему лицу.

— Ах, это ты... Очковтиратель?

— Очковтиратель... — обрадовался человек.

— Ну, проходи.

История посетителя была довольно простой. Когда-то под Астраханью он действительно познакомился с Кировым. Больше того — он арестовал Кирова. Дело произошло так: красноармеец Попов был послан в степь для разведки, в стели орудовала банды генерала Толстого... Ночью красный разъезд напал на автомобиль. Сидевший в автомобиле человек остановил кавалеристов и спросил, какой они части. Попову человек показался подозрительным. Киров назвал себя. Что-то знакомое звучало в этой фамилии, но красноармеец Попов плохо разбирался в фамилиях и должностях. Он попросил Кирова поехать в штаб полка. И уже там получил головомойку от своего начальства.

С этой бестолковостью он дожил до новых времен. Честный, хлопотливый, преданный партии коммунист, он мог выполнять какое-то очень маленькое, несложное дело. Таким его знали на заводе. При мобилизации на партийную работу в деревне его с остальными товарищами направили в один из районов. Из района он попал в кулацкое село. Пока Попов был у себя на заводе, у него находились и друзья, и советчики, все шло хорошо. Но стоило ему остаться одному в обстановке почти вражебной, как начались неприятности. Он запутался. Дело кончилось тем, что его уличили в неправильной даже сведений о вспашке хлебов и окрестили очковтирателем. Постановили исключить из партии.

Задыхаясь, волнуясь, рассказал по-

юношескими художественными исканиями, до творческих зреальных романов, повестей и новелл,—проникнуто любовью к делам и людям нашей эпохи.

Николай Никитин известен как тонкий мастер рассказа. Крупных успехов достиг он и в области исторического романа — «Это было в Коканде» и «Северная Аврора» заняли видное место среди историко-революционных эпопей.

Была у Николая Николаевича горячая любовь к искусствам — к театру, живописи, кинематографу, музыке. Он и сам, как талантливый драматург, был замечательным деятелем театра и кино, другом и товарищем таких блестящих режиссеров, как А. Тайров и Ф. Эрмлер.

Была у Николая Николаевича живая, страстная заинтересованность в молодых кадрах литературы. Упорно, повседневно, требовательно работал он с начинающими писателями, заботливо вводя их на страницы журналов.

Человек доброго сердца, Никитин умел дружить с людьми. Он сохранял прочные отношения со старыми товарищами и легко «наживал» новых друзей. Его отзывчивость и принципиальность ценили все, кто с ним общался.

Сегодня, вспоминая о Николае Никитине, мы знакомимся с новеллистическими этюдами, извлеченными из архива писателя его женой и другом Р. А. Никитиной. Тут и автобиографический рассказ, из которого так ясно видно, что, не будь революции, не было бы Никитину пути в литературу. Тут и рассказ о С. М. Кирове, которого Никитин имел возможность наблюдать лично, в котором он особо уважал душевное благородство ленинца.

Два этюда на разные темы... И в каждом из них — одна и та же авторская личность: человека из народа, советского писателя, влюбленного в революционную Россию — в ее традиции, современность и будущее.

Александр ДЫМШИЦ

В огромных окнах кабинета виднелись верхушки деревьев, покрытые бледно-зеленым пухом. Блестел желтый паркет.

Иванушкин раскрыл гладкий ящик с образцами сорока минералов. Это был первый подарок Кольского полуострова.

Киров долго разглядывал камни. Он бережно вынимал их из ваты. В его пальцах они казались драгоценностью.

— Да... — вздохнул Киров. — Мы не зря встряхнули эту ветхую землю.

Потом вдруг улыбнулся, быстро подошел к столу, со скрипом выдернул ящик и, достав из него несколько исков, протянул их посетителю.

— А вот попробуй, узнай... Что это такое?

Иванушкин перепугался. Киров смотрел на него пытливыми и острыми глазами. Иванушкин смущенно вертел камень, чувствуя пот на затылке.

— Да ты не нюхай... Что ты нюхаешь? Это тебе не голландский сыр.

— Черный эгерин... — сказал Иванушкин не думая.

— Подходяще! — засмеялся Киров. — Ну, выкладывай...

Он молча выслушал доклад о трудностях, о кадрах, о спорах между Академией наук и Ленинградской геологической разведкой. И неожиданно спросил Иванушкина:

— Ты сам бываешь на месте разведки?

— Я осведомлен из докладов начальников партий и отрядов.

Киров приподнял плечи и, как будто мимоходом, небрежно сказал:

— Советую лично бывать в поле...

Иванушкин вспыхнул. Киров уже отвернулся от него. Киров смотрел в окно, где висела огромная карта. Левой рукой он набирал в трубку табак из маленькой железной коробочки. Взгляд его скользил по лакированной поверхности карты. Он видел тундру, мурманский одноколейный путь, болота, дренажные канавы, низкий пестрый лес, спокойные зеркала озер и зимние, заваленные снегом склоны невысоких гор.

«Придется еще раз самому съездить в Хибины», — подумал он.

Щелкнула дверная ручка, заглянул секретарь.

— Сергей Миронович, академик Чернышев... Принять?

— Давай — ответил Киров.

ным столом. Замирали улыбки и кашель. И в наступившей тишине большого кабинета все настораживались.

Киров заглянул в оперативный график. Он лично занимался делами оборононой промышленности. Под графиком лежали доклады инженеров Баранова, Деренкова, Цвибеля. Сейчас он приготовился слушать. Он не любил выступать на заседаниях. Только репликами, только неожиданными вопросами он направлял докладчиков.

Люди, сидевшие здесь, владели и распоряжались огромным количеством сил — человеческих, тепловых, электроэнергии, у них в руках находились десятки огромных заводов, армий рабочих, дивизии инженеров. Киров связывал все эти энергии — энергию рабочих, энергию духа, энергию мысли — в одно единое целое, в единую силу, имя ее — оборона страны.

Слово было предложено Отсу.

Киров посмотрел на часы. Отс поднялся, отставил стул и вынул папку из тяжелого портфеля.

Отс начал...

— Вряд ли Сергей Миронович примет вас... Надо было записаться на прием. Кроме, как по списку, сегодня никто попасть не сможет. Заседание будет продолжительное. Потом еще назначена встреча с архитекторами. Потом Сергей Миронович уезжает за город, в район.

Странный человек выслушал секретаря, кивнул и уселся на кончик стула. От человека пахло полем, размытой дорогой, он теребил в руках дешевый сальнико-картуз.

Секретарь подозрительно взглянул на угрюмого посетителя. Человек всей пятерней поскреб в затылке и объяснил секретарю:

— Видишь ли... Я вчера здесь в коридоре встретил Сергея Мироновича, он мне сказал: «Заходи...»

— Но ведь я должен доложить Сергею Мироновичу, в чем дело, зачем ты пришел...

— Это так... — человек вздохнул:

— Скажи: Попов... Я с Кировым знаком еще по фронту.

— Ты член партии? — спросил секретарь.

Киров его спросил:

— Ты учился?

— Когда там... — посетитель махнул рукой: — Сам знаешь, большая семья. Выдвинули меня, и стало мне жить труднее. Тут и учись, и работай, и беспокойство всяко, а я вдрызг контуженный...

— Но зачем же ты хочешь быть в партии?

— Всю жизнь сознательную был в партии... А что же теперь...

Киров уловил горечь в ответе этого маленького, нелепого человека. Он вытащил из ящика пачку папирос и протянул ее Попову.

— Кури...

Киров подошел к окну. Посередине Невы тянулся длинный караван. Странно было видеть, как тщедушный бусирный пароходик тащит против течения несколько тяжелых старых барж. Он упрямо режет воду, спотыкается на волне, свистит и кашляет, трос издали кажется едва заметной тонкой ниткой.

— Как у тебя материальное положение? — спросил Киров, обернувшись к посетителю.

Тот опустил голову.

Киров сел за стол и написал записку. В записке была просьба выдать посетителю из кассы взаимопомощи пятьдесят рублей.

Киров дал записку Попову. Попов покраснел, мельком взглянув на бумагку.

— Ты кузнец?

— Да.

— Ну, вот что... Поступай на завод. Завтра зайди к Свешникову, он тебе скажет, куда... Работай! А об остальном я подумаю. Как устроишься на заводе, обживешься, приходи ко мне.

— Сергей Миронович, мне стыдно. Я и так отнял у вас столько времени.

— Ну, ничего... — засмеялся Киров, — стыд не дым, глаза не ест. Работая на производстве, ты докажешь, что ты случайно допустил ошибку, что ты можешь быть в рядах нашей партии... Падать духом не следует... Наоборот, надо бороться за то дело, за которое мы все боремся.

ПРО СЕБЯ

Я родился на Петербургской стороне в семье мелкого железнодорожного служащего. Отец мой — до своего последнего места — перепробовал десятия профессий и обучался, что называется, на «медные деньги». Так, собственно, продолжалось и всю нашу жизнь, вплоть до того времени, как я вырос и начал зарабатывать сам. Экономический расчет, скопость бедности, уменье жить и царапаться с судьбой всегда господствовали в нашей семье. И это было тем разительнее, что родственники, жившие около нас, всегда были людьми более или менее состоятельными. Торговцы, мелкие промышленники и чуть ли не рантые. Они тоже знали, что такое деньги. Они знали цену каждой копейке. Вот, в сущности, в атмосфере этого торгащества, вгрызанья в кожу я провел свое детство.

Других разговоров в наших семьях не было.

Говорили еще о церкви. Все в семье — одни из расчета, другие из истинной веры, третьи по привычке — считали церковь и богомолье обязательным условием своей жизни. Только отец смотрел на церковь, пожалуй, как на искусство, он увлекался хорами, пением и передко в свободный воскресный день бродил из собора в собор слушать певчих. Когда-то — также в дни моего детства — он выступал статистом на оперной и опереточной сценах, исключительно затем, чтобы бесплатно послушать спектакль.

Мы свято чтили праздники, по субботам и воскресеньям обязательно ходили в церковь, пекли толстые пироги с начинкой. Жизнь текла неумолимо скучно, среди деловых разговоров, слов, расчетов, копеек, обманов. Я чувствовал, что только жадность и утомительный, как гири, труд окружают нас. Но кругом ничего другого не было.

Отцу также было тоскливо, конечно, в этой жизни, но где же было иначе? Мать тоже работала: я всегда ее помню за шитьем или за каким-нибудь другим делом. Жили мы бедно, есть такая «чистая бедность», это ужаснее, чем бедность просто, судьба заставляла мать вечно думать о том, как и что сделать, где скономить, где прибавить, где обрезать, и это все только затем, чтобы наша жизнь хотя бы внешне была ничем не хуже, как-то приближалась к жизни тех, стоявшихся мешан живущих

лее бони. Никогда не ведал никакого надзора. Я был свободен.

Дни проходили в каком-то сне.

Я гулял, дрался с татарами, жившими на нашей улице, иногда занимался с матерью. Мать вообще была для меня самой лучшей и настоящей учительницей.

Помню вечера, когда я готовился с нею для конкурсных экзаменов в реальное.

Уже сумерки. Весенняя улица гудит. Улица эта звалась Тележной — не знаю, как сейчас.

Окна в соседнем доме все раскрыты. Оттуда выглядывают лохматые головы. На подоконниках часто лежат подушки.

На подушках — бабы или девчонки. Внизу, под воротами, толчется народ — семечки, нескончаемые сплетни о заработках, об изменениях, о пьянстве.

Нередко сидящие днем через окна переговариваются с улицей.

На улице уже смерклось, и видно сквозь окна, что в некоторых квартирах разноцветными огоньками мерцают лампадки. Электричество в квартирах еще не было. Только на улицах горели фонари системы Яблочкива — накаливались два встречных угла, пылавших голубым рассеянным светом. Но ведь весной не зажигались и фонари.

И в магазинах, вернее, в лавочонках, в пивных, их тогда называли «портерными», горел керосин — лампы «молния» в пятьдесят свечей.

Визжат мальчишки, гоняясь в казаки-разбойники. Завывают котики на соседнем пустыре. Городовой благодушил в беседах с мелочным лавочником, на синей вывеске красуется сахарная голова, окруженная морковкой, петрушкой, кочками капусты, а спички, конверты и бумага дружат с витыми, розовыми и обсыпанными мукой ситниками.

Посередине улицы трое пьяных мастеровых поют «Варяга». У портерной, на углу Золотоносской, недалеко от поля, идущего к тифозным Боткинским баракам, бранятся проститутки и парни из тех, что нынче зовутся «шпаной», а тогда назывались просто хулиганами.

В слове «хулиган» есть что-то не приятное, жесткое, отвратительное. Я не знаю. Я не видел таких хулиганов. Уже потом, тайком от матери, я, будучи реалистом 4-го класса, читал книгу о трех портерах,

полненные чтением и миром. В те времена — это было спустя четыре года после первой российской революции — нам приходилось жить хуже.

Втроем мы жили в одной комнате.

Я только что перенес тиф, еще был слаб, еле-еле передвигался по комнате. Я лежу у себя в кровати. Недалеко от меня сидит за обеденным столом мать. Она занята шитьем.

Мирно мерцает большая лампа.

Рядом, тут же за моей спиной, маленький дамский письменный стол, купленный мне в подарок теткой моей матери.

Тетку я помню розовой, веселой, пышной старухой, всегда немного нарядной, всегда как-то торжественной. Она носила шелковые шумные платья, аквамариновую или ametistovую брошь и золотые кольца на руках. В моем представлении была она воплощением и мещанства, и богатства, я любовался ею, но сердце к ней у меня не лежало. И казалось часто мне, что ее пылающее и красивое лицо, аккуратно зачесанная голова напоминают мне праздничный веселый розан на вкусной творожной пасхе. От тетки так и пахло не то ванилью, не то ладаном. Вечно она была в каких-то делах, постройках, полисах, процентах. Она рано овдовела и решила заниматься спасением своей души. Говорили, что в молодости за этой разбитной и красивой девушкой гонялась на тройках вся Ямская. В те времена на Фоминой неделе у церкви Иоанна Предтечи, что на Лиговке у Обводной канавы (тогда называлась так Обводной канал), всегда происходили смотрины купеческих невест. И женихи, щеголяя пестрыми бархатными жилетами и молодецкой удалью, проносились мимо чуть ли не стоя в ямских тройках. Тетка была дочерью простого дворника — тут ее похитил купец с Питерской стороны. История тетки и жизни моя в раннем детстве в ее доме, когда еще был жив ее муж, — это особая повесть моих детских воспоминаний, и, если придется мне рассказать по порядку все мое детство, много найдется в той странной, отгороженной от мира жизни, что велась тогда в деревянном двухэтажном доме недалеко от Зоологического сада...

Мы коротаем вечернюю тишину. Стрекочет швейная машинка. Мать, точно сверчок, нарушает тишину. Давно уже выпит чай. Я привык к

жестом откладывает лоскут матери и, пропуская ее под иглу машинки, строчит.

Ее привычные к строчке руки помогают пению. И тихим, немного дрожащим диксантом она поет из «Аскольдовой могилы»:

Близко города Славянска..
На верху крутой горы
Знаменитый жил боярин
По прозванию Карааун.

Как-то в медлительный вечерний час я решил про себя: «Нет! Я никогда не буду инженером».

В этот же вечер я сказал об этом матери. Она с испугом посмотрела на меня.

— Почему?

— Я не могу.

По правде сказать, я не знал, что ей ответить. Я, конечно, еще не уверен был в себе. И своим ответом я боялся испугать ее еще больше. Я морщил лоб. Я подыскивал. Наконец что-то мелькнуло в голове, похожее на правду — на ту правду, в которую еще могла бы поверить мать. Я сделал строгое, серьезное лицо и, ласково протягивая к ней руки, сказал детским басом:

— Мама. Я хочу быть адвокатом.

Мать от неожиданности опустила руки, побледнела, страх за все мое будущее метнулся в ее взгляде, ее серые глаза как-то очень больно сжались... Может быть, на какую-то секунду, даже долю секунды — в это кратчайшее мгновение — она, и практическая, и сентиментальная женщина, поняла, что ведь вот сейчас разрушается ее мечта, ее сын, ее опора, надежда ее измученной жизни (я знаю, что в молодости мать моя очень сильно страдала, не раз она говорила мне потом: «Я все вынесла, чтобы только поставить тебя на ноги... Если бы не ты... Бог знает, как бы я закрутила свою жизнь») — и что теперь?..

В страхе встала она от швейной машины. Заморгал болтливый членок.

Тонкие губы матери чуть шевелятся, я даже не слышу ее голоса — так тих он.

— Адвокаты... — шепчет мать, — это те, что шляются по трактирам!

— Мама.

Я бросился к ней в колени, прижался к ней.

Мать решила, что пройдет моя блажь. Но через четыре года снова встал все-таки этот обман, но не знаю, годы ли, мои ли вкусы, усталость ли житейская матери — она примирилась; я пошел в университет. Я с гру-
пой

ок и боя с нами.

Но не о них здесь речь.

Чувствую, что это можно пока осилить. Ибо здесь не история и не роман чьей-то жизни. А только повесть — кратко, что припоминается, — повесть о том, что видится откуда-то сверху. С какой-то очень высокой точки, где детали исчезают.

Правда, я никогда не чувствовал, что такое голод... я никогда не имел дырьевых сапог. Я в этой жизни с матерью узнал всю черную сторону жизни — я смог бы сделать, хоть сейчас, все сам, своими руками. Но мне никогда не приходилось этого делать. Мать всегда как-то отодвигала от меня все это.

Я стыдился своей собственной бедности. И вот почему в юности, да и потом долгое время, я почти совсем не имел друзей.

В нашем быту, где царили копейки, долгое время я рос затем только, чтобы выбраться из этой бедности. Родители старались дать мне среднее образование.

Лет до 13 я жил, как жили все окружавшие меня ребята. Мы обитали в тех домах, где обыкновенно селился тот слой петербургского общества, что, по мещанскому определению, значится под ярлыком «среднего класса». Этот «класс» — ни богу свечка, ни черту кочерга. Нужно, чтобы по праздникам мальчик носил матросскую курточку, чтобы он окончил школу и стал деловым человеком. В мое время деловыми считались инженеры. И на семейном совете решено было готовить меня к этому. Так я был отдан в З-е реальное училище. До этого я обучался в некоем допотопном семейном пансионе на Старом Невском под руководством какой-то важной седой старухи духовного происхождения, где учительницы, были учеников по головам толстенным карандашом за неправильные ответы и где в дни именин «начальницы» мы целовали ей ручки. В этом заведении обыкновенно учились дети местных лавочников, купцов и неважных чиновников.

Свободное от занятий время я обыкновенно проводил на дворе в разных веселых играх. Мать не имела времени, чтобы следить за мной. Я никогда не знал никаких нянь, ни тем бо-

простоволосыми, в платочках простиутками, ворами и хулиганами нашей улицы, веселыми мастеровыми, кондукторами с Николаевской дороги. Здесь было много грубого, темного и, может быть, злого — зла была окружающая жизнь. Но во всех этих хулиганах было больше несчастья, чем преступлений.

Среди них были прекрасные музыканты. Помню одного — Пашку, сына прачки, великого гармониста.

На углу — на тумбе у портерной — всегда играл, заливаясь трелями вальса, какой-нибудь из гармонистов.

Под этот уличный шум я сижу с матерью на подоконнике нашей кухни и занимаюсь арифметикой. Мать читает по задачнику Евтушевского. А я тут же наполовину устно, наполовину на бумажке решаю задачи в сумерках, чтобы не тратить понапрасну деньги на керосин.

— Купец А купил у купца Б три штуки разного сукна... за штуку маренго он заплатил 475 руб. 40 коп., за штуку гвардейского — 199 руб. 95 коп...

До четвертого класса реального училища жил я в семье, впитывал оттуда все: обряды, обычай, богомолье, съестные мещанские праздники и суровые, полные работы и нужды, будни. Но, проболев год, я остался в этом классе на повторительный курс — и здесь как будто перевернулась жизнь. Я стал жить сам по себе, как крапива. Мать отстала от наблюдений за мной. Я сошелся с товарищами. Тут же я набрел на клад: отец мой служил на Николаевской железной дороге, там была довольно приличная библиотека. В этот же год отец стал выписывать «Ниву». И вот, помимо школьной литературы, передо мной открылась другая.

Библиотека — это неисчерпаемый источник, из которого я пил. В неделю я проглатывал по три, по четыре, по пять книг. Начиная от Авсеенко и Фламмариона и кончая Шиллером. Тысячи всяких Лухмановых, Потехиных — имена всех разрядов, большая, малая, средняя и прочая литература.

Помню эти упоительные вечера, на-

ливовыми странными цветами, чайник служит давно. Свой фарфоровый носик он сменил на оловянный. Я читаю Чехова — приложение к «Ниве». Лесков и Чехов — новый, сверкающий мир. Я глухну, погружаясь в эти книги с серыми и желтыми обложками. Мне кажется, что до сих пор я ничего не читал.

Книжка лежит у меня на коленях. Я впиваюсь в нее душой.

Иногда я отрываюсь от свежих, пахнущих краской страниц и встревоженно взглядываю на мать. Бьет уже половина двенадцатого. Отца еще нет. Очевидно мне, что он засиделся с приятелями в «Черногории». Там играет орган. Смешные усатые люди балансируют бутылками, блюдами и подносом, как жонглеры.

Я знаю этот трактир. Иногда, возвращаясь из бани, отец заходит со мной в этот трактир, приказывает принести чаю и пирожков и завести машину. Я наслаждаюсь крепким малиновым трактирным чаем, фаршем черногорских пирожков и густым, полнокровным звучанием органа.

Вижу, мать волнуется. У нее осутилось лицо и вспыхнули около ушей два розовых пятна. Мне хочется как-то ее успокоить, и я читаю ей вслух.

Но пятна разрастаются. Бьет уже двенадцать. Меня клонит ко сну. Но кажется мне, что нельзя так оставить мать. Она упрашивает меня заснуть. Я же чувствую, что лучше не спать. Я знаю, что, когда я засну, может вернуться отец. Один у него обязательно повиснет вниз унылым клюком. Мать начнет укорять, стараясь говорить шепотом. Но, не выдержав этого, вдруг неожиданно для себя она заспорят горячо. Я проснусь. Будет нехорошо.

Нет... я не буду спать. Тогда они не начнут разговора.

Я откладывают книжку.

— Мама, спой что-нибудь...

— Спи... спи... Какой певун... Уже двенадцать, все спят.

— Ну споем, мама... Ведь никого здесь нет. Стены кругом глухие. Ты спой, а я буду слушать.

Мать долго не решается. Наконец я уговариваю ее.

Она каким-то ловким и проворным

я сделаю с моей жизнью». Но вместо догм, норм Юстиниана, сдаваемых экзаменаторам из вежливости, я сидел на семинарах Шляпникова, Введенского, Шахматова, а из факультета — только на Петражицким.

Я еще кое-как занимался в университете. Шел 1918 год. В Москве было Всероссийское совещание под руководством Луначарского о реформе высшей школы. Я был избран в делегацию от Петроградского университета.

Чудесная осенняя Москва. Опавшая листва, аромат пустынных, тихих улиц. Новодевичье поле. Глазная клиника — мы там жили. По утрам в коридорах — фракционные совещания, днем — заседания в большом белом зале нового университета, амфитеатр голов — кипение, молодость, кадеты в крахмале. Я наблюдаю за речами. Юнцы-кадеты играют в парламентаризм, скрытые эсеры — в политику. Большевики гремят молнией, они делают свое дело — и сделают так, как им будет угодно, — иначе к чему же революция?

Луначарский в прекрасном белом свете разбрасывает речи.

В этот день, стоя у белой церкви, я впервые увидел Москву.

Косым планом, убегая, как парус, расстился пестрый город, он был расширен, как Персия, воздухом, небом, солнцем, крыщами. Отсюда шло чувство страны, упирающейся в туманную, дымную даль. Фабрики почти молчали. За скопищем стен — не склоняемая простота полей. Что суждено, думалось тогда, этому городу, утопающему в толпах ив, леса, степей? Там, где дым, — на краях горизонта, — готовилась борьба. Здесь, это место, где я сейчас стою. — Москва, корабль... Ветер ждет, чтоб натянуть парус... Все понесется в страну, в революцию.

На горизонте ковра собирались складки... Ветер идет. Я был рад. Я открыл лицо этому нужному, этому спасительному ветру революции.

ПЕСНЬ СУДЬБЫ



Николаю Николаевичу Никитину, прозаику и драматургу, автору широко известных исторических романов «Это было в Коканде», «Северная Аврора», 8 августа исполнилось бы 75 лет.

С именем Никитина связана представление о том отряде советских писателей, путь которых в литературу лежал через фронты гражданской войны, через горячие будни революционных свершений и строек.

Живая потребность выразить пафос этого строительства, рассказать о его людях вызвала к жизни первые произведения Н. Никитина —

сборники «Камни», «Бунт», «С карандашом в руке» и ряд других. В 1927 году выходит его повесть из жизни комсомольцев 20-х годов «Преступление Кирика Руденко». Навсегда проиденным этапом стала для писателя его прежняя увлеченность «орнаментальностью» стиля. Никитин стремится к реалистическому, точному и строгому воссозданию жизни. Своего литературного учителя он видит в А. М. Горьком, «Писательская этика, этика вообще, долг писателя, его обязанности перед обществом... — вот из чего складывался тот образ «крыщаря литературы», который воистину воплощал в себе Горький», — писал позднее Никитин.

Произведениям Никитина зрелого периода присущее сочетание очерковой документальности, конкретности, образных характеристик с эпичностью повествования. Этому методу писатель верен и в романе «Северная Аврора», широко признанном советскими читателями, удостоенном Государственной премии.

Незадолго до смерти Никитин писал: «Трудно себе представить советского писателя созерцателем, спокойно наблюдающим события жизни. Писатель прежде всего гражданин». Эти строки с полным правом можно отнести и к самому Николаю Никитину.

30. VIII. 1970
В. С. Шубин

В. С. Шубин

Старейший советский писатель М. Л. Слонимский говорит:

— Мне хорошо помнятся встречи с Н. Никитиным: его облик, его речи, в которых меньше было общих рассуждений и больше лично пережитого, испытанного... Я уже рассказывал об этом. Но сегодня, накануне 75-летия со дня рождения Н. Никитина, легкое и неравное оживает вновь и вновь. Вот несколько штрихов к портрету Н. Никитина, человека и писателя.

Никитина признали с самых первых его рассказов одним из подающих большие надежды писателей. На конкурсе Дома литераторов в Петрограде в 1921 году первую премию получил Константин Александрович Федин за рассказ «Сад», а вторую — Николай Николаевич Никитин за рассказ «Подвал». Критики подхватывали каждую опубликованную вещь Никитина, хвалили (даже восхваляли), ругали (даже иногда очень). Начало его литературной деятельности было, можно сказать, бурным.

Стихия бушевала в первых его вещах, перехлестывала через край. Густая, узорчатая словесная вязь его первых рассказов рвалась под этим напором. Но даже в излишествах его тогдашнего стиля ключом был свежий, молодой талант.

Как-то летом 1922 года Никитин закончил письмо ко мне словами: «Мы близки революции... В этом радость». Сознание сродства с революцией контролировало его работу и его поведение. Этому чувству он никогда не изменял, оно вело его в жизни, и в литературе при всех метаниях, поисках, ошибках, заставляло соглашаться со справедливой критикой. Радость жизни переполняла душу, Никитина тянуло к друзьям, он ненавидел одиночество, он был очень открытый человек. Была в нем жадная страсть к узнаванию все новых и новых людей и дел нового, только что родившегося мира — страсть, гнавшая в близкие и дальние путешествия. Стремление познать революцион-

ную перестройку жизни уводило его все дальше от прошлого, привычного, насквозь известного.

Нет, его «стихийничество» отрицало все, что было нереально, беспочвенно и просту истеринно.

«Половодье чувств» входило у Никитина постепенно в свои берега. Очень эмоциональным, восприимчивым и реактивным Никитин оставался всегда, но все сильней и ощутимей вступал в дело контроля разума.

В 1931 году в Ленинграде, в тогдашнем Союзе писателей возникла литературная дискуссия, в которой горячее участие принял и Николай Никитин.

Тогда же Никитин сказал так:

— Творчество писателя — это его песнь, песнь судьбы. Песнь его судьбы будет песнью его класса, если он в этом классе, если он своей судьбой связан с судьбой своего класса...

Пришла зрелость, пришли серьезные и глубокие размышления. Написанные в тридцатые годы книги Никитина «Поговорим о звездах» и «Это было в Конанде» — умные, талантливые, зрелые произведения мастера.

Песнь никитинской судьбы — это песнь о том, как улеглась и вошла в русло разума поднятая революцией стихия, песнь об органическом росте человека революционной эпохи.

Творчеством своим Никитин участвовал во всех значительных событиях нашей жизни, много работал в общественности, писал не только книги, но и статьи и очерки в газетах.

В 1957 году Никитин, садясь в самолет, чтобы лететь с делегацией Комитета защиты мира в Чехословакию, потерял сознание. В Ленинграде успешная операция спасла его... Он, преодолевая болезнь, читал рукописи, выполнял общественные обязанности, продолжал писать, работать.

Но это были уже последние ноты в песне его жизни. Песнь судьбы Николая Никитина — в написанных им книгах.

какая в письмах мужчины, которое писатель-дворянин склонен считать врожденным качеством крестьянина», «...его антидемократические, дворянские позиции», «Бунин возрождал в своих стихах теорию «чистого искусства». Эти резкие и беспощадные формулировки высказаны мною из десятого тома академической «Истории русской литературы», изданного в 1954 году. В различных ва-

леснис. В то же время об литературоведа, твердо и последовательно отстаивая свое понимание сложных и запутанных моментов творческой биографии Бунина, нередко обращаются к прямой или косвенной полемике с самыми высокими и признанными авторитетами. Я бы сказал, что А. Волков идет дальше О. Михайлова в споре со своими предшественниками в стремлении

Ф. ЧАПЧАХОВ

БУНИН

ДАЛЕКИЙ

И БЛИЗКИЙ

риациях, по сути своей оставаясь неизменными, они фигурировали и в учебных пособиях, и в монографиях, посвященных проблемам истории русской литературы XX века. Так большое и сложное явление, каким был и останется талант Бунина, целиком выводилось за пределы отечественной культуры, молчаливо объянялось чуждым, если не враждебным нашему обществу.

Ныне положение бунинского наследия в литературоповедении изменилось самым решительным образом. Выход в свет двух собраний сочинений Бунина и нескольких весьма содержательных однотомников его прозы и поэзии позволил советскому читателю судить о подлинных сильных и слабых сторонах творчества большого русского художника слова, создал реальные предпосылки для появления новых исследований, в которых воссоздается истинный облик писателя. Только за последние пять лет наше литературоповедение обогатилось такими работами, как статья А. Твардовского «О Бунине», предписанная девятитомному собранию сочинений, книга А. Бабореко, представляющая собой первый опыт научной биографии писателя, содержательные монографии В. Афанасьева, О. Михайлова, А. Волкова.

Все эти работы в той или иной мере рассмотрены и оценены критикой. Тем не менее есть настоятельная

утвердить свою концепцию спорных этапов бунинского творчества. Книга «Проза Ивана Бунина», надо сказать, порой выглядит даже перегруженной полемическими пассажами.

Не пытаясь всесторонне охарактеризовать достоинства и просчеты книг О. Михайлова и А. Волкова, остановлюсь лишь на некоторых положениях, которые, на мой взгляд, имеют принципиальное значение для современного литературоповедения в его подходе к оценке творчества Бунина.

Положения из академической «Истории русской литературы» относительно «антидемократических, дворянских позиций» были приложимы главным образом к творчеству Бунина конца 900-х — начала 10-х годов, касались оценки таких произведений, как «Деревня», и примыкавшего к ней пласта повестей и рассказов, рисующих жизнь крестьянства и разорявшегося и вырождавшегося дворянства. Такой взгляд на эти произведения являлся неоправданным заострением некоторых положений известной статьи В. Боровского. Этот взгляд совершенно не приемлют оба современных исследователя.

По О. Михайлова, «в конце 900-х годов Бунин-прозаик переживает как бы второе рождение: решительно расширяется тематика его произведений, происходят разительные изменения в художественном методе... Бунин обращается к теме России, судьбу которой он воспри-

Бунин

ДАЛЕКИЙ

И БЛИЗКИЙ

риациях, по сути своей оставаясь неизменными, они фигурировали и в учебных пособиях, и в монографиях, посвященных проблемам истории русской литературы XX века. Так большое и сложное явление, каким был и остается талант Бунина, целиком выводилось за пределы отечественной культуры, молчаливо объянялось чуждым, если не враждебным нашему обществу.

Ныне положение бунинского наследия в литературоведении изменилось самым решительным образом. Выход в свет двух собраний сочинений Бунина и нескольких весьма содержательных однотомников его прозы и поэзии позволил советскому читателю судить о подлинных сильных и слабых сторонах творчества большого русского художника слова, создал реальные предпосылки для появления новых исследований, в которых воссоздается истинный облик писателя. Только за последние пять лет наше литературоведение обогатилось такими работами, как статья А. Твардовского «О Бунине», пред посланная девятитомному собранию сочинений, книга А. Бабореко, представляющая собой первый опыт научной биографии писателя, содержательные монографии В. Афанасьева, О. Михайлова, А. Волкова.

Все эти работы в той или иной мере рассмотрены и оценены критикой. Тем не менее есть настоятельная необходимость вновь обратиться к некоторым из них. К этому побуждает близящееся столетие со дня рождения Бунина, исполняющееся в октябре нынешнего года. Рассмотрение некоторых аспектов жизни и творчества Бунина, определившихся в работах литературоведов, я полагаю, позволит, с одной стороны, избежать юбилейного елея и суесловия, когда игнорируются реальные сложности и противоречия творчества и путь писателя предстает в виде прямого и ровного тракта, а с другой — преодолеть устойчивые ли-

утвердить свою концепцию спорных этапов бунинского творчества. Книга «Проза Ивана Бунина», надо сказать, порой выглядит даже перегруженной полемическими пассажами.

Не пытаясь всесторонне охарактеризовать достоинства и просчеты книг О. Михайлова и А. Волкова, остановлюсь лишь на некоторых положениях, которые, на мой взгляд, имеют принципиальное значение для современного литературоведения в его подходе к оценке творчества Бунина.

Положения из академической «Истории русской литературы» относительно «антидемократических, дворянских позиций» были приложимы главным образом к творчеству Бунина конца 900-х — начала 10-х годов, касались оценки таких произведений, как «Деревня», и примыкавшего к ней пласта повестей и рассказов, рисующих жизнь крестьянства и разорявшегося и вырождавшегося дворянства. Такой взгляд на эти произведения являлся неоправданным заострением некоторых положений известной статьи В. Воровского. Этот взгляд совершенно не приемлют оба современных исследователя.

По О. Михайлову, «в конце 900-х годов Бунин-прозаик переживает как бы второе рождение: решительно расширяется тематика его произведений, происходят разительные изменения в художественном методе... Бунин обращается к теме России, судьбу которой он воспринимает, однако, исключительно как судьбу русского крестьянства... В изображении деревни Бунин продолжал традиции Л. Н. Толстого и А. П. Чехова». А. Волков также считает, что «Деревня» и «Суходоль» знаменуют собой высшую точку творческого подъема Бунина... Видный представитель критического реализма, он отражал явления жизни царской России с большой правдой и художественной силой».

Слова эти не остаются декларацией. Они логически вытекают из серьезного анализа содержания и ху-

Н. Н. НИКИТИН

Умер Николай Николаевич Никитин — один из старейших советских писателей, талантливый прозаик, драматург, автор многих широко известных произведений, снискавших народное признание.

Николай Никитин принадлежал к тому поколению писателей, которые делали свои первые шаги в литературе под непосредственным воздействием А. М. Горького. Более сорока лет назад Н. Никитин впервые выступил в печати. В опубликованных тогда рассказах он обнаружил глубокое внимание к человеку — своему современному, знание жизни, реалистическую силу письма. Эти качества определили и весь его дальнейший творческий путь.

Читатели хорошо встретили и полюбили такие книги Н. Никитина, как «Преступление Кирика Руденко», «Поговорим о звездах», «Это было в Коканде», «Северная Аврора». Большой успех выпал на долю его пьес, поставленных во многих театрах



страны, и фильмов, созданных по его сценариям. Роман «Северная Аврора» был удостоен Государственной премии. Мы знаем Н. Никитина как видного общественника. Он избирался депутатом Ленинградского Совета, был членом Ленинградского комитета защиты мира, членом правления Союза писателей СССР и правления ленинградской писательской организации, много времени и сил уделял работе журналов и издательств, воспитанию молодых литераторов.

Н. Никитин был человеком, влюбленным в жизнь, в свою страну, в свой народ. Память о нем, талантливом писателе и ярком человеке, надолго сохранится в наших сердцах.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР;

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР;

ПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

1.1.7 - 30. III. 63

ДОМ ПИСАТЕЛЯ имени МАЯКОВСКОГО

Суббота

25

декабря
1965 г.

ВЕЧЕР,

посвященный

70-летию со дня рождения

Николая Николаевича
НИКИТИНА

Начало в 19 часов

Выступают:

Александр БОРИСОВ
Нар. арт. СССР

Михаил ДУДИН
Валентин ЛЕБЕДЕВ
засл. арт. респ.

Федор НИКИТИН
засл. арт. респ.

Лев ПЛОТКИН
Сергей СОРОКИН
арт. театра драмы им. Пушкина

Елизавета ТИМЕ
нар. арт. респ.

Георгий ХОЛОПОВ

Просмотр кинофильма
«Парижский сапожник»

Ул. Воинова, 18



М 60721 20-12-55 г. Тип. ВДК з. 4553—500

1895—1965

МИНИСТЕРСТВО

СВЯЗИ СССР



ТЕЛЕГРАММА

*) Цифры, указанные после наименования пункта, окуда послана телеграмма, означают: 1) № телеграммы; 2) количество слов, 3) число, когда телеграмма отправлена; 4) время отправления телеграммы (первые две цифры—часы; следующие две цифры—минуты).

ПРИЕМ го час. <u>1</u> мин. Бл. № <u>58</u> Принял: <u>Лев</u>	ПЕРЕДАЧА: го час. <u>1</u> мин. № связи _____ Передал: _____	
---	---	--

=МОСКВА Ж-17

ЛАВРУШЕНСКИЙ 17 КВ

37 ФЕДИНУ

ЛЕНИНГРАДА 22308 22 14 1737

сч. 10 час. 14 мин.Служебные
отметки:

=ДОРОГОЙ КОСТЯ ДОСКУ ОТКРЫЛИ ПИЛИ ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ КРЕПКО ЦЕЛУЮ ПРИВЕТ ВСЕМ=РЕНЕ-

*Наша надпись на доске памяти
Ник. Ник. Некрасова на дне № 28
по Можайской ул. в Калинграде 14 ноября 1969 г.*



НИКОЛАЙ
НИКИТИН

Dobrovi's
no Survey of
Keeneches
on ~~the~~

10/IX-~~96.~~